

Викентий Викентьевич Вересаев

**Прекрасная Елена**  
(Рассказы)

**В. В. Вересаев**  
**Прекрасная Елена**

Воронецкий сидел на скамейке в боковой Валлее Александровского сада и читал «Новое время». Солнце сильно клонилось к западу, но в воздухе было знойно и душно; пыльные садовые деревья не шевелились ни листиком; от Невского тянуло противным запахом извести и масляной краски. Воронецкий опустил прочитанную газету на колени, взглянул на часы: было начало восьмого. К одиннадцати часам ему нужно было быть в Лесном; чем наполнить эти остающиеся три часа?

Из знакомых в Петербурге нет ни души, — все разъехались по дачам; к себе же домой Воронецкого не тянуло. Он хотя и любил свою изящно убранную, уютную холостую квартиру на Пушкинской, но просидеть в ней одному целых три часа, да еще вечером, было слишком скучно: что там делать? Правда, Воронецкий давно уже собирался познакомиться с философией и купил себе для этой цели «Историю новой философии» Фалькенберга, но дальше четвертой страницы введения никак не мог пойти; там была одна фраза, на которой его раза два отвлекли от чтения и с ко-

торой он каждый раз начинал читать снова; фраза эта очень надоела Воронежскому; прочтет ее, – и у него пропадает охота читать дальше. И он отложит Фалькенберга в сторону и возьмется за Мопассана или Армана Сильвестра... Скучны эти летние вечера в Петербурге!

Воронецкий лениво поднялся, вышел из сада. На углу Гороховой, в витрине, пестрели за проволочной сеткой разноцветные афиши летних садов и театров. Он подошел и стал читать. Ярко-зеленая афиша сообщала, что в саду «Амуровы стрелы» идет сегодня на открытой летней сцене «Прекрасная Елена» («Большой успех! Популярная оперетта!»). В дивертисменте обещалось участие «знаменитой куплетистки г-жи Лины Гиммельблау – звезды Вены и Берлина» (неделю назад, как помнил Воронежский, она титуловалась звездой одной лишь Вены). В конце стояло:

*Ново!!! Оригинально!!!  
В первый раз в мире!  
Дебют каскадной певицы  
г-жи Чернооковой.*

Воронецкий усмехнулся, сел на извозчика

и поехал в «Амуровы стрелы».

В Лесном, куда сегодня вечером собирался Воронежский, жил на даче его университетский товарищ Можжелов, учитель математики, недавно переведенный из провинции в Петербург. Воронежский искренне любил его, но не мог без иронической улыбки представить себе его фигуру с добродушною, обросшею волосами физиономией, конфузливый смехом и быстрою, запинаящеюся речью. Можжелов остался совсем таким, каким был студентом: по-прежнему в каждом извозчике и дворянке видел «брата», по-прежнему горячо рассуждал о Спенсере и Марксе, Михайловском и Николае-оне. Как ему все это не надоело, и к чему они, эти рассуждения? Что для него, кроме чисто теоретического, совершенно бесплодного интереса, представляет вопрос о том, как развивается личность и в какой закоулок грозит завести нас нарождающийся капитализм? Жена Можжелова, Анна Сергеевна, – молоденькая провинциалка с прекрасными, задумчивыми глазами и немножко застенчивая – по-видимому, порядком таки скучала, слушая бесконечные речи

мужа; и когда Воронежский, остроумный и бывалый, начинал что-нибудь рассказывать или шутливо поддразнивать Анну Сергеевну, она, видимо, оживлялась.

Однажды Воронежский, разговаривая с нею, поймал на себе ее долгий и пристальный, какой-то особенный взгляд. Давно уже знакомый ему в женщинах; и у него вдруг явилось желание обладать Анной Сергеевной и в то же время пропало уважение к ней. Все дальнейшее было давно и хорошо известно Воронежскому: она будет бороться с собой, будет мучиться, придется понемногу брать с бою все, начиная с поцелуя. Два раза ему уже удалось поцеловать ее. Вчера Анна Сергеевна нечаянно проговорила, что ходит по вечерам в парк, к пруду, слушать соловьев. Воронежский объявил, что он тоже очень любит соловьев и завтра в одиннадцать часов вечера придет в парк. Услышав это, Анна Сергеевна побледнела и опустила глаза.

– Ну, смотрите же, приходите и вы! – властно шепнул Воронежский, прощаясь с нею. И он знал, что Анна Сергеевна придет.

Воронецкий подъехал к «Амуровым стре-

лам». Когда он вошел в сад, первый акт уже начался. Калхас, плешивый и краснорожий, осматривал подношения богам и, разочарованно качая головою, говорил: «Слишком много цветов!...» Воронежский пробрался к своему месту, отвечая высокомерным взглядом на недовольные ворчания потревоженных зрителей.

Действие тянулось вяло. Елена, хорошенькая, полная блондинка с подрисованными глазами, величественно закидывала голову и говорила неестественным театральным голосом; Парис, с неприятными, чувственными губами под светлыми усиками, то и дело растерянно поглядывал на публику. Остальные исполнители были не лучше. Сносен был только Менелай, полный, дряхлый старик, с чрезвычайно доброю улыбкою, шамкающим голосом и землистым лицом, в короне и зеленоватой тунике. Зрителей на сидячих местах было немного. К барьеру теснились безбилетные гуляющие. Воронежскому бросились в глаза два молодых парня в пиджаках и новых картузиках; они жадными и удивленными глазами следили за Еленой, 'Машинально вы-

тягивая головы каждый раз, когда при повороте сквозь боковой разрез туники мелькало ее розовое бедро. Калхас объявил, что боги повелевают Менелаю ехать в Крит; на Менелая надели смешной капюшон, дали ему в руки разноцветный зонтик, чемодан, и Менелай стал прощаться. Первое действие кончилось.

Воронецкий, недовольно кусая усы, вышел в сад; он любил оперетку, потому что она приятно щекочет нервы, потому что она создает вокруг атмосферу чего-то остроумного и изящно-чувственного; здесь же актрисы были глупы, статистки, с унылыми и некрасивыми лицами, не пикантны.

Воронецкий сел к столику и спросил глинтвейну. Военный оркестр играл «Тореадора и андалузку», кастаньеты щелкали. Немногочисленные посетители вяло бродили по дорожкам. Прошел высокий, изящно одетый молодой человек, ведя под руку стройную даму с напудренным лицом; важно прошли два парня, которых Воронецкий видел у барьера, – прошли, ступая носками внутрь и чинно опираясь на зонтики; у парней были здоровые и наивные деревенские лица; в Во-

ронецком шевельнулось глухое раздражение, когда он вспомнил тот животный, плотоядный взгляд, каким они смотрели на сцену. Он нахмурился и, прихлебывая горячий глинтвейн, стал просматривать программу.

Раздался звонок, призывавший к сцене. Воронежский занял свое место. Занавес поднялся, по сцене снова заходили актеры и актрисы, жестикулируя и неестественно разговаривая. Елена, в светло-голубой шелковой тунике, вышла на авансцену и запела:

Все говорят...

Пела она значительно лучше, чем играла. Глаза ее вызывающе блестели, вся она вдруг задышала чем-то порочным и увлекательным; изогнувшись красивым, полунагим телом, щурясь и лукаво улыбаясь, она пела:

*Вот, например, с моей мамашей:  
Когда к ней лебедь подплывал,  
Который был моим папашей, —  
Кто б устоял?  
Кто б устоял?*

И, невинно подняв брови, Елена беспомощно разводила руками...

Воронецким стало овладевать настроение,

которое он так любил: голова слегка кружилась от выпитого глинтвейна, женщины облеклись ореолом изящной и поэтической, зовущей к себе красоты... И перед ним встал темный парк в Лесном, с соловьями, заливающимися над прудом, и замирающей от волнения Анной Сергеевной, ждущей его у мостика. Теперь плохая игра перестала раздражать Воронежского: он улыбался, глядя, как Парис в Дуэте с Еленой, страстно обнимая ее, сам косил глаза, внимательно и робко следя за дирижерскою палочкой, как он начал понемногу увлекать Елену к кушетке, причем оба они то и дело осторожно оглядывались, чтобы не споткнуться. Наконец Елена благополучно упала на кушетку, и Парис, став на колени, припал к Елене долгим поцелуем.

Дверь открылась – и вошел Менелай, с зонтиком и чемоданом, улыбаясь своею доброю старческою улыбкою. Воронежского странно поразила эта улыбка, вовсе не шедшая к оперетке. Менелай увидел жену в объятиях Париса.

Он отступил, с ужасом вытаращил глаза,

весь дрожа, и вдруг глухим, дряхлым голосом, широко открывая беззубый рот, закричал:

– Кар-раул!!.

Два парня, стоявшие у барьера недалеко от Воронежского, засмеялись. Парис и Елена вскочили на ноги. Парис бросился к Менелая и стал убеждать его не кричать. А Менелай, задыхаясь, метался по сцене, бессмысленными, страдающими глазами глядел на уговаривавшего его Париса и продолжал кричать «караул!...» Такой игры Воронежский никогда не видел в «Елене», и Менелай не был смешон...

Толпою вошли греческие цари.

– Где моя честь? – проговорил Менелай, растерянно оглядываясь.

– Где твоя честь? – хором запели цари, театрально подняв вверх правые руки.

– Где моя... ч-честь? – повторил Менелай, губы его запрыгали, и он заплакал, жалко скосив лицо, – заплакал дряхлым, бессильным плачем.

Это было удивительно. В убогом садике, на убогой сцене, никому не ведомый актер вдруг перевернул все, и там, где по ходу действия и по замыслу композитора нужно было смеять-

ся над рононосцем, хотелось плакать над несчастным старым человеком с разбитой верой в женщину и в правду...

Занавес опустился, толпа сквозь узкие проходы повалила в сад. Воронежский медленно прошел аллею. Сел на чугунную скамейку, закурил папиросу. На душе было тяжело и неприятно; он курил и наблюдал гуляющих, стараясь не замечать овладевшего им неприятного чувства. В будке военный оркестр играл попури из «Фауста». Корнет-а-пистон вел арию Валентина, и в вечернем воздухе мелодия звучала грустно и задумчиво:

*Бог всеильный, бог любви,  
О, услышь мою мольбу:  
Я за сестру тебя молю,  
Сжался, сжался ты над ней!..*

Над головою тихо шумели деревья, заря гасла, небо было чистое, нежное. В густой зелени серебристых тополей заблестели электрические фонари. Воронежский посмотрел на часы: половина одиннадцатого; пора было ехать в Лесной.

Он вышел из сада и взял извозчика на Выборгскую, к Лесной «конке».

Была белая ночь. Дворники, кутаясь в сермяжные халаты, дремали у ворот; улицы пустели; изредка проезжал извозчик, или, как тень, проносился велосипедист, давая на поворотах резкие, короткие звонки.

Воронецкий проехал узкую Казанскую, бессонный Невский, повернул на Литейный; под догоравшей зарей блеснула далекая гладь Невы. Буксирный пароход, мерцая зеленым фонарем, бесшумно поворачивал к берегу, оставляя «а собою тускло сверкавшую струю». Воронежский следил за ним угрюмым взглядом; приятное настроение его исчезло и не возвращалось; прелесть предстоящего свидания потускнела.

Извозчик выехал на Сампсониевский проспект. Паровая «конка» только что отошла; гремя и плавно колыхаясь, поезд быстро исчезал в сумраке белой ночи. Следующий поезд должен был идти через полчаса.

– Прибавили бы, барин, полтинничек, – свез бы вас в.

Лесной, – сказал извозчик.

Воронецкий некоторое время в колебании смотрел в даль Сампсониевского проспекта.

– Пошел на Пушкинскую! – вдруг отрывисто сказал он.

Извозчик повернул обратно.

Воронецкий ехал, прикусив губу и сдерживая презрительную усмешку; он сам себе был невыразимо смешон, что не поехал в Лесной.

1896